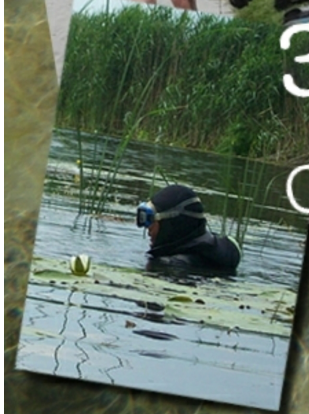


**КЛУБ  
ПОДВОДНОГО  
СПОРТА**

12/8/90



**Записки**  
Иоланта  
Сержантова

12+

# Иоланта Ариковна Сержантова

## Записки

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67728021](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67728021)*

*SelfPub; 2022*

*ISBN 978-5-00207-002-2*

### Аннотация

Всё ненаписанное витает в эфире, пока, облачённое в слова, не осядет на страницах книг... – Именно так это должно было быть. пока не случилось то, после чего рукопись книги приобрела иной смысл, и теперь она – памяти папы.

Арик Викторович Сержантов

15 ноября 1936 – 6 апреля 2022

Мечтатель, поэт, изобретатель, основатель подводного спорта в Черноземье; родоначальник элитного отряда специального назначения «морские котики»; во благо воспитания нескольких поколений настоящих советских людей не жалел собственной крови... Мой папа...

В книге много того, о чём родители не говорят детям, хотя обязаны делать это. О своём детстве, о восприятии жизни, о себе.

# Содержание

Памяти папы, Арика Сержантова	6
Надежда	8
Жизнь взаимы	10
Для полного счастья	12
Морок утра	14
Следы	16
Раз и навсегда	19
Просто так	21
Отчаяние	23
Верно...	25
Так повелось...	27
Последний месяц зимы	30
И наступила весна...	32
Чашка	34
Сторона	36
Ябеда	38
Они	41
Ничто не случается само собой...	43
Нелюбовь	45
Петербург	47
Напрасное	49
Градусник	51
Ваня	53

Тоска	55
Чечет	57
Ястреб	60
Палитра чувств	62
Весеннее	64
Совість	66
Надежда	68
По-людски...	70
Предчувствия	72
Ветер перемен	74
Кому мы нужны	76
Счастье	81
Капли	83
Сказ-ка...	85
Першее гроженье	88
Вовремя	90
Конечно	92
Синяя птица	94

# Иоланта Сержантова

## Записки

Арик Викторович Сержантов  
15 ноября 1936 – 6 апреля 2022

Мечтатель, поэт, изобретатель, основатель подводного спорта в Черноземье ;

родоначальник элитного отряда специального назначения «морские котики»;

во благо воспитания нескольких поколений настоящих советских людей не жалел собственной крови...

Мой папа...

# Памяти папы, Арика Сержантова

Жизнь – испещрённый письменами лист, с которого стёрло время своим нечистым ластиком короткое уютное слово «папа», оставив после себя грязные катышки, которые бывают на щеках у ребятишек после горьких, от сАмого... самогО сердца рыданий. Только вот легко было успокоить, утолить те слёзы: неким посулом, от которого щекотало в носу и веяло тайной, морем... С годами то обращается обыкновенно в посыл, смысл, с которым течение жизни играет теми красками, коих не раздобыть, не занять ни у кого, они только твои.

Истёртый ластиком лист... Повсюду, куда ни глянь, – серое море изношенной до прозрачности жизни, и не пробиться сквозь него рассеянному, в никуда, взгляду, поверх голов, где сосуществуют идеальные весёлые миры.

– Я счастлив, когда лежу на дне и гляжу на серебряное зеркало поверхности воды. – Это высказанное вслух откровение, слова, сказанные папой как бы невзначай, которым из-за смятения и раскаяния не было мочи отыскать тогда цены, растревожили до слёз, да не истекли вместе с ними, но остались оскоминой, осколком стекла, нечаянной радугой. А теперь... Чего уж они? К чему? Для чего?

Обветшавший лист судьбы, словно корабль, чей капитан шагнул в ночи на ступень волны и исчез, не сказавшись ни-

KOMY...

# Надежда

На поляну неба выкатилась горошина луны. Всякий иной, взглянувший вверх, давался диву, ибо по причине гладких боков и лаковых, лоснящихся очертаний, луна запросто могла бы соскользнуть с неба, и лишь каким-то чудом удерживалась на нём.

Коли бы случилось то, чего опасались немногие, закатиться бы ей в какой-либо из оврагов, наполненных доверху снегом, затеряться там до времени, когда бесчинство оттепели делает весну больше похожей на начало конца, чем на предвестник зарождения новой жизни. А уж там и тогда, – уж вовсе не быть бы луне. Единственно, коли вынесет её когда на какой берег по доброй воле потока вешних вод, либо по случайности, – матери всего хорошего и мачехи всякого, что ни на есть дурного в свете.

И, даже не отряхнув колен, бросится тогда луна со всех ног от воды, да станет карабкаться обратно на небо, царапая локти о тонкий его край.

А после, когда, отчасти растворённая в тумане, луна воцарится на давешнем месте вновь, она по-прежнему покажется непогрешимой, великолепной и непостижимой в своём совершенстве.

Да недосуг будет разбираться кому-нибудь, отчего это у луны несколько помятый вид, и зачем запачканы разводами



облаков щёки горизонта. Испокон веков – участь лучшего – зависть, удел лучших – восхищение всем, что доступно хотя бы внутреннему оку.

Живущих куда как больше занимает итог чего угодно, нежели приведшая к нему дорога. Частью это происходит из-за поспешности во всём, но вернее, что от неумения быть искренними: в благодарности и скорби, в утешении и надежде, как бы призрачна она ни была.

# Жизнь взаимы

За спиною леса таял, расходился туманом огромный блин луны. Его некому было перевернуть, а посему он едва заметно пузырился, подсыхая с обратной своей стороны, безо всякой надежды на румянец. А и кто ж его, такого, станет вкушать? К чьему может быть подан столу, коли испечён лишь с одного боку?

Луна над лесом, будто жизнь взаимы. Без отражённого ею света солнца – серую мышью кружит подле головки сыра земли. Тянется к ней, желая утолить если не голод, то хотя бы жажду, отпить от моря-окияна глоток-другой. Ан нет, – близок локоток, да не укусишь.

Бывает, пристроится иной раз луна яичком над поляной, – сама желтком, белок юбки облака округ – всё честь по чести, да сослепу не к дубраве поближе подвинется, а к сосняку. И, повержена ржавой сосновой иголкой, растечётся вдруг по небу, – не понять, где что. А истомившись на жарком огне зари, обернётся уже одним белым лоскутом, да столь малым и так высоко, что и не достать. Разве что птице ястребу... Впрочем, ему оно и не надь, о другом печётся, о других, иначе.

Покуда солнце с луной разбирали, – кто чей заступник, да который кому должен больше, размякла зима, загляделась, заслушалась... Ведь чужая беда как бы вовсе не беда? Сторонняя ссора – не тебе докука, а потому...

Но не успела зима расположится поудобнее, как стало ей не так, как было: белый снег ровно посыпали пеплом, и черты у округи заострились, разводами минувших слёз показались проталины, нездоровой, ноздреватой сделалась кожа снега. Будто бы враз подменили и день, и час, и само место. Задумала зима напустить туману, будто бы всё идёт, как и следует тому, однакоже, не пристало февралю хвастать впалым животом сугроба. Ему больше к лицу плащ метели, духовой оркестр ветра, смешанный с волчьим воем, озорное сияние острого погляда сосуль.. И вышло так, что, смотри зима за собой, всё бы шло своим чередом: февраль не примерял бы на себя личину марта, а дудел бы до самой весны в свою дуду за окном так, что никто бы и носа из дому казать не смел.

# Для полного счастья

Вырезанная из атласа снежного цвета, луна обжигала больной, со сна, взгляд.

Слегка скошенные набок концы лезвий кухонных ножниц для разделывания дичи, а именно, – освобождения её от навсегда уж лишнего бремени крыльев и лап, вероятно, разошлись во мнениях, и края луны от того казались несколько примятыми, больше оборванными, нежели отсечёнными белою сталью.

Наделанные в своё время с жиру германцами из Золинген на Урале, они были остры, но недалёки. Возобладавшая над воображением практичность обрекла их на некую ограниченность, отчего большая часть их жизни проходила в самом дальнем углу ящика кухонного стола, с глубоко забившимися между досок пылью и хлебными крошками.

Мастеря луну, ночь, вероятно, выпячивала нижнюю губу от старания, и помогая себе, едва заметно пожёвывала воздух, неощутимо для себя самой раскачиваясь в кресле. Крошки луны малыми и большими звёздами сыпались ей на колени, и хотя много их было, но положи их все разом на одну чашу мерных весов, не хватило б их совместного блеска, дабы затмить дарованное нынче луне сияние.

В это утро не было видно, как то бывает обыкновенно, следов от вымазанных типографской краской пальцев, кои-

ми хватают луну еженощно недремлющие никогда печатники. Серая губка тучи, мыльные пузыри облаков, – всё это было задвинуто далеко за меховую подкладку леса, с тем, чтобы не испортить красоты картины.

Любоваться такой луной можно было бы бесконечно, коли б утро, оказавшись некстати проворным, не спрятало её за щёку горизонта, как серебряную монетку, дабы позже, ввечеру расплатиться за красу заката, да одну или две вечерних звезды, коих, как бы ни было много, не хватает для полного счастья всегда.

# Морок утра

Округа будто бы вылупилась из тумана, словно листок, свободный от влажных пелён почек.

Толстый слой сахарной глазури снега на крышах тихо таял, испуская едва уловимый дух арбузной мякоти.

Раздетые оттепелью деревья, в спущенных до самой земли, растянутых шароварах сугробов, тянули худые руки ветвей к дороге, словно просили подаяния... милостыни, как милости. С тем достоинством, в коем, не затуманенное недо-молвками, читалось, что всё – не ради успокоения страсти в своих желаниях, а для причинения в прочих тревоги не по себе, но милосердию и состраданию, и устремления к благому делу.

Снег под ногами расточительно хрустел рассыпанным сахарным песком.

Дорога, высланная недогрызенными оттепелью леденцами сосулек, подставляя подножку, мешала ровности шага, и позволяла лишь скользить, спотыкаясь по ней, да пошатываться, едва не сбивая обочину, чьей сохранностью казалось озабочены одни только яблочные огрызки стаявших снежных баб, что толкали перед собой пушечные ядра неслучившихся никогда орудий, выглядывающих со всей возможной

для них суровостью из бойниц шутейных крепостей. Плот-  
но закрытые предрассветным мОроком<sup>1</sup> ставни леса, гляде-  
лись куда как более неприступнее. Слабый свет луны через  
абажур ветвей не мешал рассмотреть гербарий под полупро-  
зрачными тонкими листьями кальки стаявшего льда, над ко-  
торым так недолго трудилась минувшая осень. Ветр, из на-  
ивного желания помочь, сдёрнул все листья наземь едва ли  
не в один час, спутал их, чем и завершил начатое не им дело.

Что и говорить, – мОрок<sup>2</sup> утра, это такая же морОка<sup>3</sup>, как  
и всё прочее. Поди. разберись – где что. Тут главное – не  
вмешаться в чужое, и вовремя разглядеть своё, а уже там...  
Трава вырастет всюду, и на этом, и на том.

---

<sup>1</sup> темнота

<sup>2</sup> сумрак

<sup>3</sup> хлопотное дело

# Следы

- Мать! И вот где она?
- Кто?
- Да собака твоя!
- Бегает где-то. Её разве удержишь...

По причине ли юного возраста, или весёлого, беззлобно-го характера, но собака была более, чем жива. Она не могла насытиться окружающим её миром, и старалась не просто запомнить звук любого, обращённого к ней слова, но постичь его смысл. Когда кто-нибудь окликал её, собака охотно подбегала, усаживалась напротив и с пристальным вниманием смотрела в глаза, дабы не пропустить ни единого побуждения сердца, что проскальзывает в приоткрытую щёлочку взгляда скорее слов.

Нюх, данный собаке при рождении, играл ею, насмехаясь над неопытностью. Завидев чей-нибудь след на снегу, собака, дабы лучше разобрать его, погружалась в сугроб, пряча голову за холодный воротник льдинок по самые уши, прямо до утопанной морозом земли.

Вполне понятно, что она пока не понимала запахов, а просто запоминала их, чтобы при случае иметь понятие о том, кто это наследил возле её двора. Однажды, некий, один сре-



ди прочих других след, показался ей знакомым. Похожий на вмятину от разломанного надвое пряника, которым частенько баловала собаку хозяйка, его запах не был липким от чрезмерной сладости, однако напоминал... Он совершенно точно что-то напоминал, но что именно, собака не могла вспомнить никак, а посему сделала единственное, что умела, – уткнулась носом в ямку следа и побежала вперёд, оставляя позади себя борозду растревоженного снега.

Следы вели напрямиком к поляне, истоптанной семейством оленей. Стоя поодаль один от другого, они обкусывали мелкие ветки кустарников и производили порядочно шума, но суета ветра, терзавшего лес, похожего на такой же, что играет обыкновенно волнами океанских и морских вод, словно находясь в сговоре с оленями, помогал им сохранять в тайне своё местонахождение, и в то же самое время, мешал им услышать возню других. Так что, встреча собаки с оленями оказалась неожиданной для всех.

Когда очередной след, по которому шла собака, оказался полным чьей-то ногой, она подняла, наконец, голову, и увидела обладателя запаха влажной шерсти, травы, мха и надкусанных веток. Собака и олень некоторое время с интересом рассматривали друг друга. В карих глазах обоих не было ни испуга, ни смятения. Собака внимательно обнюхала ногу оленя и, подняв голову, задышала часто. Хозяевам нравилось, как она делает это, они говорили, что её оскал весьма напоминает улыбку, и собака решила, что оленю то-

же можно улыбнуться. Тот оценил дружелюбие и, наклонившись так низко, как сумел, дотянулся до собачьего уха, чтобы подышать в него, из одной только вежливости. От уха пахло щенками с выпачканными молоком носами, длинноногими нескладными оленятами и мышами, которые от рождения до старости малы, – в общем – детьми.

Собака не удержалась и лизнула оленя в нос, а тот, порешив, что это уж чересчур, подтянув свои белые штанишки повыше, неспешными прыжками удалился в чащу леса, прихватив и подружек, и интересные запахи с собой.

– Собака! Соба-а-ака!

Расслышав, что её зовут, собака, раскачиваясь всем телом и помогая себе головой, запрыгала по сугробам домой. Она бежала и улыбалась, ибо узнала нынче, чем пахнет один из множества следов, коими усеян этот прекрасный, необыкновенный мир, в который её забросила судьба. А впереди ещё ждали миска с тёплой кашей, тысяча поцелуев в нос от хозяйки, и множество самых разных запахов и следов.

# Раз и навсегда

Печь была сентиментальна, как все девчонки. Она тихо, но часто плакала, заламывая руки бересты, да хрустя пальцами дров, ибо придумала себе, будто нынешней зимой её сторонятся, избегают топить и держат впроголодь из-за неких неведомых провинностей. Она же всегда была честна перед теми, кому служила, и теперь, роняя на пол пепел и конфетные бумажки, рассеяно глядела за окошко, где от пристального внимания солнца, плавился на манер дождя сугроб. Капли талой воды то частили, то медлили, то задавали ритм, то задумывались о чём-то, замирая в холодных объятиях снега, а вырвавшись из них, бежали без оглядки, кто куда, но чаще просто падали вниз, выбив из кашицы подтаявшей почвы причудливую корону слякоти.

Да, печь была совершенно не причём. Всему виной оказалась весна. Вместо того, чтобы вступить в свои права, когда положено, а покуда обождать, непрошенная, она в любой час хлопала дверью, оставляя после себя распутицу и досаду. К тому же, заявившись не в своё время, она и сама была нервна, недовольна и от того удивительно неловка. Занозистые карнизы из сосуллек рушились, едва она задевала их горячими плечами. Неумение жить тихо и спокойно, степенно, делало весну настоящим бедствием даже для тех, кому она

была желанна чуть ли не взамен всех прочих времён года.

Но, покуда суть да дело, – синицы стряхивали капельки воды с веток, искоса наблюдая за сугробом. Оперённый крыльями филина, он не сулил ничего хорошего. Полный маховых, с тем лёгким изгибом, что дарит полёту птицы особым тактом бесшумности, деликатностью внезапного появления, и исчезновением, столь же вежливым, сколь и неуловимым. Как бы ни был бесшумен снегопад, но сугроб вопил о том, что филин нездоров, и, коли ещё до охоты ему, порадуетя и воробью, и синице. А посему, – опасность была недалёко, как и срок, раз и навсегда отпущенный весне.

Только вот. – слишком уж зыбко это «раз и навсегда», чересчур ненадёжно. Что для весны, как и по части всего другого.

# Просто так

Небо выкипало облаками. Ветер слонялся от горизонта к горизонту, роняя сор: ветки, надкушенные морозом ягоды, простроченные посередине дубовые листья и кленовые, неровно заглаженные напололам. Среди прочего, само по себе порхало лёгкое, как и все прочие, в пуху по пояс, перо филина. Оно долго упрашивало птицу выбраться из дупла днём, дабы разглядеть получше белый свет, но филин, из опасения встретить соседей, которые его недолюбливали, предпочитал прогулки в сумерках, в одиночестве, при луне. Окликаая таких же, как он, полуночников, расспросив про здоровье и обменявшись новостями, без оглядки, не опасаясь злого глаза, занимался всем, чем хотел. И однажды, возвращаясь домой на рассвете, филин не заметил, как потерял пёрышко. Да и где там было заметить, – в тот час, когда спадают шоры ночи, становится заметно, сколь недоброжелателей прищуриваются в твою сторону, ожидая любой неловкости, из которой, как из малого семечка вскоре вырастут лианы осуждения и сплетен о тебе.

Итак, воспользовавшись расторопностью птицы и ухватившись за шершавый бок коры, пёрышко осталось встречать зарю. С того места, где задержалось оно, мало что можно было разглядеть, а посему, вскочив на подножку ветра,

пёрышко отправилось в недолгий путь. Оно успело разглядеть, как частыми ударами молотка, выкованного из солнечного луча, оттепель чеканит округу. Выбитые следы были один в один рыба чешуя, сокрытая под слоем белой слизи на теле рыбёх, что в хмельном от стыди<sup>4</sup> оцепенении грудой парили у дна пруда.

Надеялось пёрышко вернуться или, покидая плюмаж<sup>5</sup> филина, полагалось на случай, но уже вскоре, мокрое, со слипшимися ворсинками пуха, лежало оно, не нужное никому, на дороге. Любой мог ступить на него, проходя или нарочно, после чего, смешавшись с чёрной от грязи кашей снега, оно утерчет не только свой вид. но и само упоминание о нём.

А ведь могло бы парить и по сию пору, под сенью переливающихся звёздами небес, под тихую песнь ветра ни о чём. Просто так.

---

<sup>4</sup> стыдь – холод

<sup>5</sup> украшение из перьев, обычно на шляпе

# Отчаяние

На щеках февраля мыльной пеной таяли сугробы, он торопился и не вытер как следует лицо. Месяц был мал ростом, холост и старался успеть прибраться за собой. Март ввязался было помочь, но февраль не любил, когда его жалели, – за глаза или в лицо, и отказался. Понимая свою ущербность, он старался уравновесить её упорством, что большинству казалось проявлением сурового характера, а малому догадливому числу – нежностью сердца, которую стоило беречь от стороннего взгляда. Иначе...

– Иначе уж не февралём я буду зваться, а мартом или того хуже – апрелем. – Вздыхал февраль, сводя белые от инея брови к переносице. Февраль усердствовал, дабы оказаться лучшим во всём, что ему полагалось. И обыкновенно, упоминая про него, говорили о строгости нрава и скрипучем голосе, но только не в этот раз.

В этот раз всё было не по его. Всего за одну ночь всё, что было бело и празднично, стусевалось, стояло, оставив посл себя лишь ту самую чёрную, как неблагодарность, как подоплёку всего вокруг пыль, вокруг которой суетились кристаллы льда, мастера белоснежные сверкающие снежинки. А затем, словно в насмешку, чуть ли не со всех разом, сорвало краны сосуллек, и хлынула вода, заполняя каждую, едва заметную впадину, как немытую чашку в тазу. Вода вскорости

переливалась через край, ибо не одному сосуду не дано вместить в себя всё, чему суждено было растаять.

Глядя в глаза февралю, я искал в них чаяние радости, а находил в них одно лишь отчаяние.

Солнце, в своей черёд, провожая меня взглядом, полным страсти, предупредительно стелило под ноги ковёр тени – отпечаток тёмной стороны жизни, которую я так усердно старался не замечать... ибо не умел я справляться с нею и смиряться не желал, ну – никак.



# Верно...

Кому-то, – успеть бы донести голову до подушки, сон прикрывает его лицо своей сладкой ладошкой, а другому – не заснуть от раздумий никак. Сонмище писанной и витающей подле правды, дабы вложить себя в уста нужным часом.. Откуда она, зачем?

Словесный ручей изречённых истин, не красивое сочетание слов, давно утратившее смысл.

В какой-то момент понимаешь, что до любой из банальностей нашего мира надо "дорости", созреть душой. И однажды, в мгновение озарения, когда некий словесный строй обретает истинный порядок, легкий, как прикосновение крыла бабочки, смысл, от которого делается весело и зябко, – ты кричишь себе, недогадливому: "Отчего ж я не видел, не понимал этого раньше?! Это же так понятно, очевидно, и лежит жёлтой незамысловатой кубышкой на глади пруда, у всех на виду, – подходи, бери, кто хочет! И все вокруг должны быть счастливы одним лишь тем, что...» Но, чем дольше ты восторгаешься ниспосланным откровением, тем дальше отступает то самое. от чего сделалось хорошо.

Эти догадки нервны и нежны, они не терпят суеты и громких слов, грубые формы банальностей оберегают их от нескромных из-за поспешности домыслов. И, мелькая мимо метеоритным дождём, они будят в нас тревогу непостижи-

мостью ясности до конца и величавым великолепием. Не от того, что глупы или «не дано», а от понимания собственной ничтожности, из-за уничтожения себя, что от гордыни, с целью досадить неведомом кому.

Но лишь только мы сами, в ущерб самолюбию, отступим в тень, склонив голову покорно, смысл бытия сам отыщет нас. Наверное, так? Так верно? Верно, да...

...С укоризной глядит луна на измятые подушкой щёки спящих, и розовые глаза прочих, которым нелегко даётся покой. Под утро, затёртая взорами, она делается неясной, едва заметной на поблекшем, выцветшем по причине скорого рассвета небе.

Сколь людей глядят на неё, а помнят ли каждую чёрточку, морщинку, оспину, шрам? Знают ли об её характере и любимых мелочах? Понимают ли, о ком плачет луна по всё время, покуда жива?.. Верно, нет.

## Так повелось...

А и забежал некогда март в гости к февралю, толкнул его легонько, так что съехали набок эполеты сугробов с его плеч, и несколько раз провёл в воздухе тонкую черту капли, – сверху – вниз, сверху – вниз:

– Давай, во-от до сих пор ты, а после уж я. – Скорчив умильную гримасу, попросил он.

Февраль помотал головой так, как бы отряхивался после падения в лужу шалый мартовский кот, мокрые капли разлетелись во все стороны:

– Нет. Не давай!

– Ну, отчего ты такой?! – Надул обиженно губы март.

– Какой такой? – Удивился февраль.

– Жадный! – Решительно заявил март, хотя понимал, что несправедлив. Кому-кому говорить про жадность, а только не февралю. Он и снег-то весь отдал январю, и не в долг, а даром. Февраль даже мороз поделил поровну, на троих с мартом и апрелем, да май ещё выпросил себе пару-тройку студёных ночей. Так только, для баловства, соблюсти обычай.

Февраль шурился на солнце и улыбался, глядя на то, как щегол готовится загодя, шуршит вечнозелёными, в поисках места под гнездо, дабы было что предложить новой подру-

ге. А март всё говорил, говорил, чертил по воздуху мокрым пальчиком понятные одному ему знаки, временами переспрашивая:

– Ну, хотя бы так. давай? По рукам?

Расслышав-таки последнюю фразу, февраль кивнул согласен:

– Хорошо, по рукам! – И добавил, – так чего ты хотел-то?

– Да пораньше чтобы! Я уже и часть вещей перевёз...

– В самом деле... – Оглядел округу февраль. Она стояла по щиколотку в воде, не шелохнувшись, из опасения ступить на покрытый водой лёд, и, как и февраль, с улыбкой наблюдала за щеглом.

Смягчившись ещё более, февраль проговорил:

– Будь по твоему! Только и ты, будь ласков, уважь мою просьбу!

Не умея скрыть своей радости, март с горячностью воскликнул:

– Сделаю всё, что пожелаешь!

– Прибереги свой пыл, на дольше хватит, – осадил его февраль. Март смутился, но промолчал.

– Дни я поручаю твоим заботам, но время от захода солнца и до рассвета будет по-прежнему моим.

– И как долго ты намерен задержаться здесь? – Поинтересовался март.

– Покуда созвездие Ориона не перестанет сиять по другую сторону от Солнца! – Ответил февраль. – Ну, а уж после я уйду. – Добавил он.

С тех самых пор так и повелось, – коль скоро на небе охотится Орион, как бы ни было томно днём, февраль ещё здесь, и крепкое прикосновение его холодной руки в любой час может застать тебя врасплох.

# Последний месяц зимы

Год шёл по изломанным следами тропинкам февраля. Он то наслаждался опорой наста, то проваливался внезапно едва ли не по колено, так что через какое-то время ему стало столь жарко, что пришлось, сбросив в сугроб седой парик лишайника, обнажить голову. Сразу стало немного легче. Февраль остановился, вздохнул. Медовый свет солнца нежно и щекотно, будто бы шёлковым шарфом провёл по его лицу, из-за чего февраль неожиданно, на весь лес чихнул.

Разбуженное внезапным звуком облако, что отдыhalo подле вершины самой высокой в округе сосны, встрепенулось и от неловкости зацепилось за колючую ветку. Стараясь подсобить, ветер потянул облако за пышный рукав, и распол его, а уж оттуда, изо шва, посыпались на землю холодные хлопья, больше похожие на вату, нежели на снег.

Приподнимая крышки сугробов, год приглядывал за тем, как в талой воде готовится кушанье. Сдобренное хвоей, просшим мхом и семенами липы, оно вселяло надежду на то, что, проголодавшаяся с дороги весна будет довольна.

Выпавшие из пригоршни осени жёлуди, те, которые не донесли до стола кабаны, дятлы да поползни, переодевшись в пижамы, что стала им уже немного мала, готовились укрыться совершенно мокрым одеялом земли. Год не тревожил их

нравоучениями, ибо знал, что жёлудям от того совершенно ничего не сделается, но вскоре, когда солнце наберёт достаточно в свой ковшик тепла, возле каждой тропинки, а то и прямо посередине, окажется по зелёному стебельку с флажками листьев дуба на вершине.

Год шёл по неровным тропинкам февраля. Он знал, чего ждёт, но не ведал, чего ждать от него, самого краткого, но такого непокорного, последнего месяца зимы.

## И наступила весна...

Зимний лес. Рассуждая об его красотах, мы имеем в виду солнечный, ослепительный день с бело-голубым снегом, тенями, прорисованными простым карандашом, так похожими на пересохшие ручьи. Из-за них же, по причине этих самых теней, чудится, будто бы лес переступает на слоновьих ногах. Медленно вальсируя с ветром, он встряхивает редкой шевелюрой и кладёт ей голову на грудь. Польщённый и обескураженный нежностью, тронутый до самой глубины своей ветреной души, ветер замирает, и старается дышать незаметнее, дабы не спугнуть редкую минуту.

Глядятся праздничными и наряды птиц, а тонкие, нежные плечи ветвей, выпростанные из пышных сарафанов сугробов, вызывают не жалость, но умиление. Золотистый их загар, тот, что от солнечного света, кажется к месту даже в зимний день.

Но... как часто бывает так? С последних жёлтых дней и до половодья лес неразговорчив, хмур. Утомлённое тяготиной непогоды, небо сбрит лоб морщинами облаков, да и те невзрачны столь, что никак не понять – где начало, а где завершение дня.

...Впившись зубами сосуллек, зима держалась изо всех



сил. Из её полуоткрытого рта истекал аквамарин вешних вод, но к ночи, изломав почти все свои клыки, зима, наконец, сдалась, и наступила весна...

# Чашка

Она стояла, изящно оперевшись о узкое бедро, вся на виду. Невзирая на прозрачный и безупречный её лик, невозможно было предугадать, что за мысли кружат в её головке. Каруселью дольки ошпаренного кипятком лимона, либо чайнками, что, распарившись, были похожи на испорченные в огне старинные свитки или обрывки морской капусты... И да, она была чашкой. Негаданным, неожиданным подарком, появление которого в доме вызвало смятение, ибо вносило разлад в раз и навсегда установленный порядок: каждому предназначалась особый сосуд и прибор, для всякого кушанья или напитка – свой. А посему – новому предмету совершенно не находилось места.

Но, из уважения к дарителю, было решено, что каждый возьмёт на себя бремя, дабы уделить время и отведать из чашки хотя бы даже простой воды.

Со времени появления чашки, в доме стали происходить неприятные, грустные и омрачавшие далеко не безмятежную жизнь, события. Каждый, кто хотя раз пригубил из сосуда, делался задумчив, рассержен или же обижен, но по укоренившейся привычке не расстраивать окружающих, таил это глубоко в себе.

И вот однажды за обедом, когда подошла очередь самого

младшего исполнить условленное, глава семейства хлопнул себя по колену, и, топча ногами салфетку, схватил чашку со стола, омочив её содержимым скатерть.

– Я должен остановить это! – Вскричал он и, выбежав во двор, размахнулся, чтобы разбить окаянный сосуд, источник многих нахлынувших бед, о стену.

Но... Представилась ему вдруг истекающая кровью лисица, – она поранилась об осколок стекла так глубоко, что была не в состоянии зализать рану, а двое её малышей всё ждали маму, да так никогда и не вышли из норы. Почудилась ему и собака, всеобщая любимица, скорчившаяся от боли в углу двора, которая, не заметив стекла, слизала её вместе с кусочками мозговой кости...

И не смог человек допустить, чтобы любое из того, что привиделось, произошло в самом деле, по его вине.

В эту самую минуту, будто бы ниоткуда, перед ним появился даритель, и, забрав чашку, спрятал её поглубже к себе в суму, а подозвав человека ближе, стал шептать ему что-то, со стороны очень напоминающее молитву.

Ветер, что по своему обыкновению, крутился подле, сумел расслышать кое-что, но, покуда бежал, чтобы пересказать, всё и позабыл.

# Сторона

Снег сыпал мелко, да часто, а накрошил столь, что ни одному не унести, ни вдвоём.

Март лениво жевал хлебные палочки веток, обмакнув их в белый соус снега, коим, как известно, издревле потчевали на Руси аж до самого Новолетия<sup>6</sup>, и так же нехотя глядел по сторонам. Присматриваясь и примериваясь к округе, Март охнул вдруг, и, бросив жевать, хлопнул себя по коленам так, что встрепенулось всё, что оказалось подле и далече, раскидав клочья снега, как шерсти, что роняет собака, отряхиваясь ... во все стороны.

В этот смурной не по его вине день, Март познал вдруг, что, как не крутись, а сторона-то, кажись, всего одна. И в этой единственной, лишённой какого-либо понятия об себе, заключается всё: добро и зло, чёрное и белое. Но, ровно, как на бересте, скрытая невинным обликом чернота, не бросается в глаза, словно стыдится и сути своей, и облика.

Распоротое облако, как надкушенный мышью мешок сахарного песка, помаленьку сеял на землю снег.

Сплошь белены стволы скоро лишались любого изъяна, ворохами снежными прикрывалась всякая нечистота, —

---

<sup>6</sup> 20 марта

тишь, да гладь, лепота. А что проку-то в той красоте? Для кого она? Так только, – лицемерие одно – малая жертва порока перед добродетелью, выкупленный наперёд срок, после которого невозможно уж будет скрыть ни одной пометки: ни на бересте, ни где-либо ещё.

# Ябеда

Мальчишке не было ещё шести. Мать работала в ночную, отца вызвали на пожар, старшая сестра, приказав брату немедленно ложиться, заснула сама, одной рукой обняв колени, а на другой устроив щёку.

– Ха. Старшая, тоже мне! – Дразнил спящую сестру мальчонка. – Подумаешь, всего-то на два года, а важности... Чуть что не по её, – «Маме скажу!» Ну, говори-говори теперь, но вот сама-то заснула, а я теперь буду делать, что захочу!

Хохотнув от удовольствия, мальчишка едва удержался, чтобы не щёлкнуть ябеду по носу. Сестрёнка завозилась во сне, а шалун, отходя от кровати широкими шагами, грозно нахмурившись в её сторону, шептал:

– И желаю я... желаю прямо сейчас... немедленно...

Мальчик вдруг почувствовал, что проголодался. Конечно, есть хотелось почти всегда, но в эту минуту, когда часы у соседа за стеной пробили полночь, впалый живот малыша угрожающе кипятился и требовал еды, так что было из-за чего позавидовать сестре, которая давно уже сладко спала, уплетая во сне кусок сыру на тёплом ломте нежного, на сыворотке, хлеба.

Каждый раз мальчишке представлялся именно толстый,

неровный кусок сыра, отломанный от головки, в который можно вгрызаться, как в яблоко, тогда как хлеб в его мечтах, неизменно тёплый ситчик, был почти прозрачным и таял во рту на манер бисквита.

Помотав головой, мальчишка сглотнул слюну и решил выйти из дому. Соседские ребяташки, те, само собой, давно рассматривают в своих снах бублики, да петушки на палочке, ни на что другое у них ума не достанет, точно такими торгует по воскресеньям возле входа на рынок мужик в двух тулупах и валенках. Но оно ничего, пусть себе дрыхнут, во двор можно и одному.

И через некоторое время, месяц с неподдельным удивлением разглядел одинокую фигурку маленького человека, который, чтобы не замёрзнуть, то шаркал на одном месте, то принуждал скрипеть под шагами снег. Вид у малыша был потешный, и в известной мере несчастный. Выдыхая, он с серьёзным видом складывал губы трубочкой, словно выпускающая дым.

Замёрзнув и проголодавшись ещё больше, мальчишка решил выйти со двора, с тем и направился к воротам, за которыми, как известно, ещё издревле располагался истёртый колёсами пожарных телег, склон.

Однако же, даже не успев добраться до ворот, малыш рас-

слышал чьи-то шаги, разглядел слегка преувеличенную лунной, растянутую тень мешка в чьих-то руках, и нешуточный, уже знакомый смертельный страх ударил его по спине, промеж лопаток:

«Это они, те, которые собирают маленький детей «на мясо», чтобы после лепить с ними пирожки и продавать на рынке!!! Про них давеча рассказывала нам мать...» – Догадался мальчонка и побежал, что было духу назад. Скорее, скорее в тёмную комнату, под тёплый бок спящей сестрёнки. Дорогой мальчишка поскользнулся и разбил себе нос до крови, но... плакать было нельзя, – его могли услышать.

Немного погодя, стоя у окна во двор с задранной головой, дабы унять кровь, льющуюся из носу, мальчишка заметил вдруг, что ночь, прищурившись на него месяцем, зеленоглазо, как сестрёнка, шепчет голосом ветра, но с тем же укором, ровно это она:

– Маме скажу! У-у! Скажу-у!

Мальчишке едва минуло пять. Дело было в Иркутске, зимой 1942 года.



# Они

Они не были похожи одна на другую. Среди них были бесхитростные, наивные, открытые, и тут же рядом теснились особы скрытные, мутные, таящие неведомое, неопределённое и от того несомненно опасное в своей сути.

В пасмурную погоду они грустили, ей подстать. Солнечным днём делались к стати веселы, а ночами те, безыскусные и простодушные, – без опаски осыпая себя алмазами с головы до ног, испускали восхитительное сияние, происходившее больше не от внешнего света, но от того, который шёл изнутри, – сердечный, искренний, предвосхищавший любую недоговорённость и сомнение в немыслимой прелести бытия. Мутные же, из осторожности, из неумения радоваться стороннему счастью, покрываясь высокомерием, будто бы мхом пыли, дули губы и туманили неустанно своё чело.

Различия в характере и тех, и других, казалось, не могли иметь подоплёки. Все они были родными сёстрами друг другу и двоюродными тем крутобёдрым озорницам<sup>7</sup>, что совершают набеги на сады летней порой. Прямо так, среди бела дня, неаккуратно лакомятся вишнями, топчут на клумбе цветы, и, случается, бьют подчас оконные стёкла. Ненаро-

---

<sup>7</sup> град и сосульки(ледяные сталактиты) имеют схожую слоистую структуру, исходя из идентичных условий образования

ком, впрочем, да тем, в законе, не легче от того.

...Свет роился седыми мошками снега, коими, перегоняя с места на место, со всею небрежностью забавлялся ветер. И только они, ледяные сталактиты, не церемонились, удерживая свою стать и достоинство до времени, когда солнце ясно намекнёт на то, что «Уже пора», и позволит им уйти.

А тогда уж... почнёт всё киснуть, рыдать, да примутся за свои перезвоны весенние колокола, играя одну, единую на все века увертюру, в ожидании первого: «Мой птенчик...»<sup>8</sup>, и всего, что неизбежно следует за ним.

---

<sup>8</sup> «МАРТА Мой птенчик, Иоланта, ты устала?» (Либретто , М..И. Чайковский «Иоланта»)

# Ничто не случается само собой...

Закатное солнце плавило прутья леса один за другим. Они держались, как умели, но всё одно, чернели от копоти и пепла очередного, пущенного на ветер дня.

Патина солнечного света отставала от серебристых стволов с тем чинным степенством, и незаметно точно так, как ветшает всё истинное, в чьем благородстве и отрада, и утешение, и липкие, пахнущие лимонником, смолистые капли надежды на то, что всё, что ни случается – к лучшему.

В преддверии весны, земля судорожно тянула на себя покрывало позёмки, прикрывая впалое подреберье, что зияло после недавней оттепели.

Предполагая катар, поезда, холодными пальцами колёс, простукивали холм насыпи чуть пониже ключиц шпал. И, распознав его определённо, звенели рельсами взад и вперёд, дабы дать знать о том всему. Семафоры моргали согласно и невозмутимо, а верстовые столбы кланялись с привычным равнодушием вослед, пропуская мимо себя чужое суждение, не считая за важность ни длину состава, ни срочность груза, ни то, что вот он проследует дальше, сверкнув по-докторски пенсне налобного фонаря, а ему-то с этим жить, мириться как-то, сочувствовать, либо делать вид, что всё в порядке и

ничего не происходит из того, что статья не должно.

Стоя на самом виду, солнце выжигало самое сердце лесной чащи. Да не было до того дела никому, кроме птиц, что с трепетом следили за свитком пламени, кой медленно скользил сверху до низу, будто решая, в котором месте способнее остановиться, с тем, чтобы поставить своё, ничем неизгладимое тавро. По обыкновению, всем оказалось недосуг думать о ком-то, кроме самих себя, а птицам не оставалось ничего, кроме как разводить крыльями и глядеть заворожённо, рассуждая, что ничто не случается само собой, просто так, без высшего на то соизволения...

# Нелюбовь

Неровно обломанная надвое, ровным серебряным светом сияла луна, а другая её часть, оторвавшись от чьего-то брелока, брезгливо сторонилась табачных крошек и измятых записок на дне глубокого кармана. Либо, что вернее, доверчиво льнула к чьей-то груди, напоминая о том, кто бросил небрежно свою половинку серебряной монетки на тёмную скатерть неба, расшитую стеклярусом созвездий, и думать о ней забыл.

Но на чьей стороне оказаться горше? Быть может того, кто, рыдая в никуда, находит всюду напоминания о былом счастье, а во всяком – несходство с милыми, одними во всём свете чертами, отчего плавится слезами, и обессиленный, не может отыскать подле себя то, что заставит подумать о собственном достоинстве. Да и впрямь – к чему оно, если «ничего уж не нужно»...

А тот, другой, в ком причина, неужто он более удачлив? Упустив то, ради чего иные перестают быть. Не собой, но во все. Задувши свечу чувства, вместо того, чтобы нести её, ступая медленно и осторожно, оберегая нежный лепесток пламени не то, что от вздоха, – от взгляда: нескромного и корыстного, завистливого и ревнивого. И ведь... скоро совсем,

ту, меньшую половинку монетки, подберёт кто-то другой, который и не мечтал об эдакой удаче, но сумеет оценить её...

– Простите... знаю, не я причина ваших слёз, но коли бы вы только позволили мечтать про то, что эта половинка луны оставлена для меня...

– Да берите уже, не бросать же её так.

– Я буду неподалёку.

– Но для чего?

– Дабы слышать шорох вашего платья, звук шагов и ветра, что замирает вдруг, уступая вам дорогу...

Несть веры, попирающим то, наивное, отвергающее брэнность, чьи глаза чисты и бездонны, а сердца бьются малыми птахами, рискуя погибнуть в каждую минуту от такой малости, как нелюбовь.

# Петербург

На месте дома, в котором жил мой прапрадед, шеф-повар одной ресторации на Невском, в 1902—1904 годах для «Акционерной компании Зингер в России» было возведено шесть этажей с мансардой в стиле модерн, по проекту архитектора Павла Сюзора.

Автор

Низкое небо Петербурга невольно заставляет сутулиться. Пощёчины ветра, что раздаёт он, не удосужившись отереть рук, понукания его, – в спину или напрямки, когда стынет любая гримаса... изличье! – что, исторгаемо непогодой, позволяет судить о тебе. Каков ты...

Кровотечение каналов, их стенания шёпотом, волнение, упрятанное в пышные гранитные воротники берегов. Приятные взгляду, взывающие к прикосновению, располагающие к раздумьям, – льнут к ногам, следят исподлобья, как старая, изучившая тебя вдоль и поперёк собака. Она-то знает наперёд все побуждения твои! Загодя прощает укоризну, страхи. Исстрадавшись твоею болью, она б унесла её с собой, ухватив стёртыми зубами, туда, куда уходят все обыкновенно. Коли б не жалела, если бы не опасение, что тебе сделается хуже. Хотя, кажется – куда ж ещё плоше.

Ветер неустанно смешивает краски облаков на палитре небес. Так что модно без лишних церемоний, не мудрствуя, стоять на одном месте, задрав голову, изумляясь манере, сочности, нажиму мазка, причудливости оттенков, сходству с чем-то, чему имени-то и не подобрать, ибо не успеется, с эдакой-то переменной в мыслях. А, коль скоры они, да не поспеть за ними, так нечего и торопиться...

Низкое небо Петербурга невольно заставляет сутулиться. Но ненадолго то. И, понемногу расправляя плечи, ты идёшь, подставляя попеременно щёки навстречу мокрому ветру, отчего они делаются румяными, как то, последнее на ветке яблочко, которое останется там аж до самой весны.



# Напрасное

Рассвет расцарапал спросонья небо, и покуда птицы хлопотали над ним, поднося вату облака и зелёнку хвои, пока, щебеча бестолково и от того утешно, обдували ссадины, день шёл своим чередом.

С крыши, стылым сахарным сиропом свисали сосульки, на них же, сохраняя спокойствие, балансировали высокие бокалы зимы. Ломая солнечные лучи, как сухую солому, их тонкие хрустальные ножки испускали разящее взор сияние и парили над скатертью снега. Неубранная ещё, осыпанная нечистотой, – не по злобе, но по рассеянности, она манила к себе, ожигая взор, очаровывая, пленяя его, так что долго ещё после, что ни попадалось на глаза, казалось блеклым, вялым и туманным.

Наступавшая затем вечерняя заря, без жалости расправлялась с необрубленными<sup>9</sup> лоскутами дня, и прямо так, мятыми, небрежно сметала их за щель горизонта, в надежде на то, что «спишет всё» густеющая тьма. И пусть недолго ей владеть умами, но, как и всякому, сужденье суждено. Правдиво оно или нет, – то бывает разное...

---

<sup>9</sup> неподшитые

Отстояв сколь положено, ночь воронкой слепой метели исчезала в просвете луны, увлекая за собой крошки звёзд и обломки созвездий. Было заметно, что она гордится собой. Более прочего, ночь любила в себе именно эти мгновения, когда, ускользя кокетливо и открыто, она красноречиво взывала к сожалению об своём уходе, которое всегда бывает напрасным.

# Градусник

Ему было нехорошо, пилюли и снадобья, которыми пичкали его, всё никак не помогали, но никому в голову не приходила догадка сделать одну простую вещь – поставить градусник, а попросить об этом самому было как-то неловко. С самого раннего детства он полагал, что главное в лечении ни порошки, ни пиявки, ни полоскание горла керосином, но волшебная стеклянная трубочка с пленённой в ней каплей ртути, что живёт своей жизнью, путешествуя по причудливым, неодинаковым ступеням разметки, и по своему хотению, из одного лишь милосердия, вбирает в себя любые хвори. Бывает, что она мечется, теряет покой, и, всплескивая перламутровыми ладошками, добирается до жирной красной точки, а после, взобравшись на неё, отталкивается блестящими туфельками, дабы подпрыгнуть вверх, как можно выше. В такие минуты она порождала неизбежную суету нянек подле, которые тут же, едва не падая без чувств-с сами, призывали доктора, а куда тот не постучится своею тростью в дверь, принимали меры, в силу собственного разума.

А там уж... Всенепременные омовения нестерпимо горячей водой, с подмешанной к ней столовой горчицей, растирания чьим-то душистым жиром и липкие компрессы, которые хочется стянуть под тяжёлым, навалившимся всею сво-

ей тушей, жарким одеялом, да высвободившись ото всего, позволить змее сквозняка, что вползает через приоткрытое окошко, обвиться вокруг, чтобы прохладиться слегка... Но совершить задуманного никак нельзя, ибо за тобой следуют, как за помешанным, приставляют сиделку, которой наказано пуще глаза следить за тем, чтобы на место одного недуга, невзначай не заступил другой, ещё более коварный.

...Врачи шептались за его спиной, и, встречаясь с ним взглядами, сразу отводили глаза, а он... он был уверен, что, стоит сунуть градусник подмышку, и у него сразу, тотчас всё пройдёт... Как жизнь, что промелькнула перед глазами в один момент.

# Ваня

Стоя на пороге дома, женщина щурилась на солнце. Стебли винограда, ажурное их переплетение, залитые белой эмалью снега, на лазурной витрине небес гляделись изысканным, тонкой работы, украшением. Виноградины, огранённые морозом, сияли, словно марказитовые, и их было до того вдоволь, что уж прямо чересчур.

– Ваня, Вань, что делать-то будем? – Пожалилась женщина мужу. – По осени-то не до того было, а теперь ягоды придётся обирать. Пропал урожай, ни себе ни людям. Хоть бы птицы какие обнесли, а то и соседские ребятишки, да никто, как на грех, по всю зиму не соблазнился.

Добродушный Ваня улыбнулся супруге:

– Не грусти, уберём.

– Да так-то оно так, но уж больно много забот и помимо того, – вздохнула женщина.

И тут, ниоткуда, ни отсюда, а прямо от небосвода откололось облако и опустилось на сад с виноградником и яблонями. То были дрозды, видимо их невидимо. Сторожко, опасно поглядывая на людей, они, брезгуя иссушенной морозом мякотью, спешно лущили ягоды, одну за одной, дабы по-

лакомиться семенами.

Не в минуту, но в какие-нибудь четверть часа, не дольше, дрозды очистили сад и убрались восвояси.

– Гляди... Ваня! – Восхищалась женщина. – Какие красивые! И ни одной ягодки не оставили, яблочка – ни единого!

– Ну, ды-к! – Пыхтел мужчина, одобрительно поглядывая на супругу.

Со стороны могло показаться, будто бы это он сам только что управился с доукой, и дело сделано не по случаю, а по его собственному велению, по хотению жены, которую он любил пуще отца-матери, больше себя самого. Было б можно, горы бы свернул её ради, да только вот... силы уже не те.

Счастливая минутой, женщина бережно понесла улыбку в дом. Ваня поспешил было за нею следом, но задержался, ибо некто тронул его тонким пальчиком ветки за рукав... А сквозь ветер, стылый да дерзкий, по-настоящему весенний, донеслось до него тихо и внятно:

– А отчего ж, не сам? Знать, сильно ты того хотел...

# Тоска

Закрывая собой серость, растушёвывая заметные при свете дня промахи, ночь упорно трудилась. Часто и тяжело переводила она дух, и вздыхая подобно ветру над просыпан-ными по небу камнями звёздчатых самоцветов, провожала взглядом тех, немногих, что срывались в бездну вселенной, перечёркивая с размаху своё прошлое огненной наискось чертой. Во взоре ночи не было и следа недовольства или какого-либо указания на сдерживаемое сочувствие. Выдавала себя одна лишь неловко сокрытая досада о нужде в той смелости, коей обладают немногие, умеющие перевернуть ход течения своей жизни с тем, чтобы вырваться из удобной, знакомой вдоль и поперёк, окончательно конечной ложбины промежду смутно осознанным минувшим и туманным, а от того неясным будущим.

За все радения и исступлённость, утро расплачивалось с ночью серебряным неразменным пятакom луны, да, ко всему прочему, не открыто, а таясь, исподтишка роняла его за подкладку горизонта, как бы стыдясь чего.

Зардевшись в ответ чайному подарку, будто случайному, ненамеренному, ночь всякий раз уходила в тень, уступая место дневному свету, оставив после себя разбросанным нечто невидное, неосознанное, которое гнетёт своею неопределён-

ностью, и именуется тоской, что отыскивает себе, подчас, весьма причудливые лазейки и объявляется в самый неподобающий час.

...Во всяком, сокрытом от солнца месте, гнездится страдание, причина коего – недостаток света в нас самих, неумение удержать его, дабы хватило на все ненастья и перипетии природы, как бытия.



# Чечет

В недрах обрушенной снегопадом туи поселился чечет. Необитаемое на первый взгляд дерево порадовало однажды поутру появлением за слегка отдёргнутыми гардинами ветвей сонной птицы, облачённой в приличную полосатую пижаму.

Парню, а судя по наряду это была точно не девица, уже умытому, с мокрым, зачёсанным назад чубом, что придавало ему вид служащего, не хватало только ношенных, но крепких шлёпанцев на ногах да газеты подмышкой.

Повозившись недолго в прихожей, устроенной на нижней широкой ветке дерева, чечет соскочил с неё, как с подножки трамвая и принялся закусывать семенами, рассыпанными давешней метелью. Птица вкушала степенно, неторопливо, подробно, не смущаясь очевидной, привычной во всём умеренности. Чечет подбирал не всякое семечко, но лишь ладные, добротные, из тех, коих минули перипетии зимы. Мanners выдавали в птице поклонника всего изящного, вкупе с отменным вкусом и рассудительностью.

Занятый собой, хранящий молчание чечет, взывал о внимании к себе куда как более иных, чей глас сотрясал заснеженную ещё округу, отвыкшую от истерик, распрей и ссор,

сопровождающих обыкновенно птичью повседневную суету. Скользя по наклонному насту, чечет удерживал равновесие, не прибегая к помощи крыльев, чем вызывал восхищение ястреба, следившего за ним исподлобья неба. Малая птаха несомненно пришлась бы если не ко двору, то уж непременно к обеду ястреба, но следить за нею оказалось куда потешнее.

– Что там с неё? – Рассуждал ястреб, оправдывая свою причуду, внезапно нахлынувшего добродушия. – Пучок перьев и боле ничего.

Не в силах справиться с любопытством, ястреб спустился с небес на ближнее к чечету деревце, и устроившись к нему спиной, дабы не приводить в смущение, поинтересовался:

– А чего ты один?

Чечет едва заметно улыбнулся и, загодя прощая всех и вся, отвечивал кротко, но с достоинством:

– Отстал.

– От своих? – Уточнил ястреб.

– От них. – Подтвердил чечет.

– Тяжело тебе придётся. – Посочувствовал ястреб и... улетел.

Мы не станем теперь врать про то, что птицы сделались неразлучны. Они, без сомнения, имели с тех самых пор друг

друга в виду, но лишь тем и обходились. Любопытство – не лучшее из качеств природы, но и сочувствие без деятельного участия в судьбе, сродни равнодушию, которое делает нас жестокими, хотим мы того или нет.

# Ястреб

– А вам было страшно?

– Нет.

Из репортажа

во время награждения воинов России,  
отличившихся в боях

за освобождение Украины от фашистов.

Март 2022

В обагрённых кровью рассвета доспехах, под барабанную дробь дятла, ястреб облетал дозором округу. С тёплой тени гнезда, с первого скола яичной скорлупы, с начального пёрышка, что щекотно, не в свой черёд пробилось сквозь тонкую кожу, ястреб был готов сложить голову во благо своего края, сомкнуть крылья, да камнем разбиться о родную землю. Мать с отцом строго следили за всеми птенцами, но этот выдавался в ряду прочих, едва прозрел.

– Глади-ка, – говорила отцу мать, – другие-то, кто для чего родился: один пёрышки чистит, второй всё больше пушинки под себя подбирает, а этот-то, мелкий самый, – устроится на краю гнезда, да глядит по сторонам. Какой где заметит непорядок – кричит, слететь рвётся, того и глади выва-

лится, а летать-то ещё не вмочь...

Отец молча кивал в ответ причитаниям жены, но приглядываясь к сыну с тою гордостью, в которой поровну любви и сострадания, ибо нелегка доля радетеля Родины, а уж родителю того ж не остаётся ничего, как принять судьбу, да крошить зубы молча, от жалости по родному дитятку, от гордости за него.

Дело было весной. Покуда солнце забавлялось с сосульками, брызгая ими на стороны, да понукая их капризам, птенцы росли. В положенный срок первые два разлетелись кто куда, а малый остался подле отца-матери, вблизи родного дома, дозорить над милым сердцу краем, что всякий раз на самом краю земли да в глуши сердца. Так и сделался однажды меньший птенец великим, ибо делами одними славен любой, кто ни на есть: будь то птица или человек.

# Палитра чувств

На круглой салфетке луны, испорченный, измятый край которой глядел в противную от земли сторону, были видны следы чьих-то коротких, толстых, выпачканных в жирной саже пальцев...

– Откуда такие фантазии?

– А что?

– Ну, ежели измараны, – пускай, но отчего ж непременно короткопалым неряхой? Да и сажа... Где ей взяться на небесах?!!

– Про пальцы – то чудится так, а копать...

– Из-за чего ж она, помилуй?!!!

– От войн и грязных мыслей, зачем же ещё.

– На всё у тебя есть ответ.

Серая марля тумана парила над снегом, распространяя душный, душной аромат цветочной пыльцы, который казался не то, чтобы вовсе некстати, но, в виду небытности какой-либо растительности, просто-напросто нелепым, лишним, нездешним и зряшным. Густая, осязаемая его кисея, оседала в горле, царапала липкими лягушачьими лапками, но, так и не сумев выбраться, вызывала словно бы простудный недуг.

Мгла, как могла, мешала постичь предрассветный сумрак, но лишь вровень со вполне свершившимся утром делались ясными вполне неясные крики, что так тревожили в ночи. Почти что на своих прежних местах, заметно уставшие с дороги птицы дурно изображали всегдашнюю суету. Будто бы и не улетали никуда, а так и были тут, и лишь унылое пение метели не давало случая расслышать их трели, да ощутить вблизи упругость натяжения тетивы крыл.

Да почто ж сие притворство? Неужто не понять нам, не простить? Сострадание входит в палитру чувств-с, коль не утеряна ещё она сама.

# Весеннее

Ночь ушла, оставив на невытом блюде неба надкушенный пряник луны. Осыпавшаяся с него белая глазурь звёзд таяла в жидком, по сту раз женатом чае предрассветных сумерек, но, спустя немного времени, солнце осветило всё, что так давно истосковалось по его ласке и смахнуло прилипший к губам лепесток луны.

Нечёсаная, спутанная ветром шевелюра леса окрасилась в весёлый рыжий цвет. Ручьи запускали кораблики, делая их изо всего, что неосторожно оказывалось чересчур близко к долгим промоинам истекающих снежным соком сугробов. В струях искрящейся, обжигающей взгляд лавы, из-за отражённого в них солнца, ветер неосторожно играл корабликами и часто топил их. Это, впрочем, не имело никакого значения, ибо на воду могло быть спущено что и где угодно, потому как она умышленно не признавала берегов. Слеплённая полднем, наугад, наощупь, вода познавала каждый камешек на дороге, шероховатость щёк небритых с осени пригорков, вмёрзшие в слякоть следы и слежавшийся под настом гербарий прошлогодних трав. При этом, и то было очевидно столь, вода несла на своём лице ту ясную, нежную, извиняющую всё улыбку, которая обезоруживала любое недовольство.



Трудновыносимое сияние весеннего дня принуждало считаться с собой и иметь его в виду от этих самых пор. Равновесие меж ним и ночью было нарушено, а усугубляясь всё боле, рассчитывая на равные во всём права, день отыгрывал понемногу у зорь, упираясь прохладным лбом в двери заката, плечом к плечу с ветром, или занавешивал туманом окно рассвета, дабы спутать, сбить с толку ночь.

Ночь ушла, оставив на невытом блюде неба надкушенный пряник луны. Знать не слишком была голодна...

# Совесьть

Утро макало обкусанное почти наполовину печиво луны в малиновый сироп рассвета, и до того вкусно было глядеть на него, что помехой тому не казалась ни скользкая пенка стылого наста под ногами, ни согретая в котле земли вода луж под тонкой прозрачной крышкой льда. Куда ни ступи – всё неловко: промочишь ноги, неуклюже разломив своею тяжестью и тот наст, и тот лёд, а крепкий на вид сугроб крошится неровными рыхлыми ломтями, на манер размоченной в чае булки.

Занятое совой, ближнее к рассвету дупло мерцало теплом розового света. Безропотно, ибо была мудра не понаслышке, птица ожидала, покуда солнце поднимет голову повыше, не отворачиваясь в тень, не моргая. Сова оказалась более покладистой, чем прежняя жиличка дупла, что не поделив нечто с лисой ещё в начале зимы, лишила округу своего раскатистого эха в ночи, как преисполненного благожелательности оклика.

В любой час всякой зимы, на вопрос:

– А и здесь ли ты?!

Можно было услышать рассеивающее беспокойство:

– У-гу... У-гу... У-гу... – Но только не минувшей порой.

Этой добой<sup>10</sup> нарушали безмолвие одни лишь крики нехстати потревоженных косуль, да редко – падение лавины сугроба с покатых плеч сосны... Только вот – пройдёт вскоре оцепенение, сгинет с половодьем последний лоскут истерзанной, побитой молью оттепели снежной шали, и взамен стыди<sup>11</sup> явится стыд. Ведь что ни спрячь под снег, как под спуд, от тепла солнечных лучей, как жаром совести, откроется всё, отыщется, окажется на самом виду... Как и та, затёртая до дыр луна.

---

<sup>10</sup> пора, час, время, година

<sup>11</sup> стужа

# Надежда

Ночь долго забавлялась монеткой луны, что вручила ей на прощание вечерняя заря. Не имея за что платить, не понимая ценности денег, ночь катала истёртый серебряный пятак от горизонта до горизонта, покуда не пришла пора передарить его рассвету, кой сунул деньгу за щеку дня, как расшалившееся дитя, и сделался вдруг покоен да лукав.

Земля покрылась веснушками божьих коровок, редкие мухи пугали бесшумностью, с которой появлялись как бы ни из какого места. Взяться им, коли по чести, было и впрямь неоткуда. Они, словно бы позабывши про свою солидность и всегдашнее недовольное ворчание, путаясь в сторонах, садились отдохнуть на снег, дабы подремать там, как на сахарной голове, про которую слыхала всякая порядочная муха, да мало какая видала. Разве что та, что жужжала задолго до давешних, и, потирая руки, располагалась на самом виду. Вот она уж и познала, что такое оно есть, сладкая-то жизнь.

В такт ветру, весна покачивалась раздумчиво. Перенимая движения, разгоняя боль в затёкших членах от неловкости и недавней зимней простуды, деревья покачивали бёдрами, так что понемногу розовели их щёки, причинялась гибкость стану, а воздух округи наполнялся ароматом несбывшейся

покуда горечью молодой листвы.

Всё говорило о намерении сбыться: и самой весне, и жизни, и надежде, дремлющей ещё глубоко, но не так безнадежно и безвозвратно, чтобы не проснуться в некий, скорый уже час.

## По-людски...

Люди меняются. В лучшую ли сторону или в худшую, но это происходит во всякое время и во все времена. Обстоятельства мнут людей холодными, лишёнными чувствительности пальцами, терзают, отщипывая понемногу. Бывает, что проведут под их подбородком снизу, почти нежно, либо потреплют по щёчке, и произнесут невнятное нечто, вроде:

– Ну-ну, чего уж ты так, всё бывает, не ты первый...

– И последний не я... – Послушно добавляет человек, потирая ушибленную в который раз душу.

А после, в другой-то раз, побережёт её, спрячет поглубже, затаит из жалости к себе. И будет рваться душа, ибо иначе нельзя, да обожжённая до пузырей совестью, израненная, освободится, всё же, но коли поймёт, что запоздала, упущен срок, – сникнет. Бывает, что и вовсе, насовсем.

Одни люди следят за статью и богатством других, не замечая ничего боле. Иные смотрят друг другу в сердце, ведь всего того, что наносят волны времени на берег жизни, его в самом деле как бы и нет... Из слов важны лишь те, что предвестники деяний, из поступков – которые предтеча по-

двигов. Иначе – как бы и не по-людски.

...Из-под плотных пелён наста, кои окутали округу, со-  
чилились слёзы, то рвалась на свободу душа земли. Достаточно было одного выразительного взгляда солнца, чтобы снег, который, казалось, навечно врос в кору ветвей, стушевался, сник и, оставляя после себя стыдные мокрые следы, отступил.

Так отступает перед правдой ложь, а небытие пред существованием, которое, по существу, само в себе – поступок. И пусть он и не по своей воле, да куда уж деваться теперь.

# Предчувствия

Предчувствия обманули зиму, и она состарилась скорее, чем следовало ожидать того. Впрочем, сделалось всё, хотя внезапно, но более, чем изысканно и не менее, чем утончённо. Затронутые инеем, самые кудри холодной кроны леса, их локоны, в одночасье оказались седыми, а в окружении рассвета, что рдел застенчиво и торопливо от того, они чудились причудливым, рукотворным, усеянным мелкими алмазами плетением. Волшебство сей картины манило к себе, а её возможная мимолётность приневолила запечатлеть любым манером видение, столь же обыкновенное, сколь и необычайное.

Умеющий смешивать краски, отыскивать верные представления полутона, хватался за кисти. Владеющий словом, поспешал за ускользающим впечатлением, сжимая пальцами перо. А который познал тщетность усилий передать верно, что заметил сам, стоял, отворив сердце тому, что рождало счастье в его душе.

Но любованью сему скоро пришёл конец. Стуча по крышам сапогами, явился ветер, да сокрыл холстиной туч и рассвет, и само небо. Случившаяся следом метель растушевала крону леса, не оставив ни тени от того сияния и былой кра-



сы, что завораживали собой.

Прожжённый солнцем сумрак полдня, неряшливые его поползновения вернуть то, утреннее ощущение счастья, мнилось напрасной тратой сил, большей необходимого ценной за новую потеху, ибо не истощившаяся ещё прежняя радость, питала собой всё, что видело, знало или помнило о ней.

Предчувствия обманули зиму... Или нет?!

# Ветер перемен

Сопереживание – это труд. Врастая душой в испытанное на войне родителями, дедами, детьми и сверстниками, становишься старше, прибавляется седина, заодно с решимостью не оказаться в стороне. Если этого нет – ты как бы выходишь на обочину истории своей Родины, стоишь и смотришь, как другие, – там, впереди истекают кровью, а ты просто позволяешь защищать себя. И нет способа объяснить, что ты не стоишь того пока. Покуда не дозреешь до сострадания.

У ясеня ободраны коленки. С чего бы так, коли он и крепок, и строен, и высок? А виной тому...

Ветер, что пробегал мимо, был на вид так силён, так хорош собой... и осина не удержалась на месте, рванулась было следом за ним, позабыв совсем, что не может, не должна, не имеет собственной воли покинуть место, которое взрастило её, в которое выросла...

У ясеня ободраны коленки. С чего бы эдакое с ним, коли он статен, молод и высок? А виной тому... вовсе не ветер, что пробегал мимо, но осина, которой не хватило духу остепенить свой порыв следовать за чужим счастьем, за призра-

ком его. Не умея видеть и ценить того, что подле, не пожалела она даже самоё себя... Ну, так и поплатилась за то. Рухнула осина, ссадив кожу ясеня, и остались от неё щепки да дрова, и неровно огрызенный поспешностью пень, кой из последних сил сжимал пальцами корней горсть родной земли.

Пройдёт время, совсем немного, и поросль осины пробьётся от корней к солнцу, и да ей Бог оказаться мудрее той, чьё разумение сорвало ветром никем нечаянных перемен.

# Кому мы нужны

– Картопли<sup>12</sup> запас, капусты запас, помидоров бочку засолил, огурцов – две бочки! Муки купил пять мешков, хозяйка моя хлеба да шанежек напечёт, когда надо. И всё! Живи – не хочу!

Сквозь приоткрытую ветром форточку, до Петра Васильевича доносилось, как сосед хвастает Прокофьевне, самой главной сороке – сплетнице на этом краю посёлка, и с каждым услышанным словом, переполненным довольством, как пеной забродивших нечистот, жить ему хотелось всё меньше и меньше.

Некоторое время тому назад, и без того слабое зрение Петра Васильевича вовсе покинуло его, так что одиночество, обступившее после кончины любимой супруги, стало тягостным ещё боле. Нехитрое хозяйство вдовца требовало сил, которых достать было уже негде. Жизнь на ощупь удерживала его в застенках сожалений о былом, и, не допуская до него новых впечатлений, выхолащивала те, малые капли возможных радостей бытия, по причине которых он ещё находился по эту сторону клумбы.

---

<sup>12</sup> картошка

– Ну, так тому и быть! – Не дослушав домовитого соседа, воскликнул Пётр Васильевич. С решимостью, отвергающей всякие сомнения, царапая ладони о стену, добрался он до входной двери и отодвинул засов. Тем же манером возвратившись в комнату, улёгся на кровати, предоставив естественному ходу вещей распорядится его судьбой.

Отказавшись от какой-либо еды и питья, Пётр Васильевич вознамерился распутать узел, удерживающий углый челн его несчастной участи подле причала, на котором суетились прочие живущие. На него не обращали внимания ни дети, ни даже внук, которому давно уж был отписан дом.

Внука Пётр Васильевич, несмотря ни на что, очень любил, и перед незрячим взором часто возникала застольная картина, когда его разлюбезная Марусенька, оперев подбородок на сложенные руки, притворно сокрушалась:

– Так вы у меня без ужина нынче, разленилась что-то я! – А после доставала из печи припрятанные загодя пирожки и огромную сковороду с варёным, обжаренным на топлёном масле картофелем.

Поджидая внука в гости, Пётр Васильевич не ждал от родного человека ничего, превышающего обычную меру. Простой кефир с булочкой подали бы ему надежду, большую иных драгоценных посулов, и стали бы порукой тому, что он ещё нужен!.. Но внук всё никак не ехал.

Неизвестно, сколько бы дожидался своего конца одинокий больной старик, если бы однажды утром женщина из соседнего дома не заметила ватагу школьников, что воровато оглядываясь выбегали из дома Петра Васильевича.

– И что это вы там делаете?! – Закричала соседка вослед удирающей ребятне и направилась к дому старика. Приоткрыв дверь, она заметила разбросанные по дому вещи и лежащего на кровати Петра Васильевича. Казалось, он не дышит.

Вызванный женщиной врач скорой помощи успокоил:

– Жив! Обессилен только. Голодный обморок, не более того.

Вечером того же дня, наливая горяченького супчику, женщина стыдила старика:

– Пётр Васильевич, миленький, ну я ж маму хоронить ездила, а если бы ещё задержалась, как бы мы тут без вас, а?

– Да, кому я нужен, детка...

– Мне нужны, мне!

– Так ведь чужой я тебе.

– А это вы думайте, как хотите. – Улыбнулась женщина, но сообразив, что Пётр Васильевич слеп, наклонилась к нему и обняла. – Когда я только сюда приехала, ничегошеньки не

умела, свекровь вон урожа́й моих первых огурцов палкой сбивала, а вы мне свои через забор подкидывали.

– Так ты видала?!

– Ну, а вы как думаете?! Я ж не дурочка, огурцы не лягушки, чтобы по грядкам прыгать.

– Да мне тебя, девонька, так жаль было... И старательная, и работающая, а свекровь хуже ведьмы досталась.

– Так я ж вам чужая была, Пётр Васильевич! – Рассмеялась женщина.

Наступила ночь. Луна, из-за того, что не было своей собственной жизни, любила подглядывать в окошки за чужой. В одном окне она заметила мирно спящего в чистой постели Петра Васильевича. На табурете возле его кровати стояла бутылка кефира и булочка. Через окно соседнего дома луна разглядела тучную старуху, ту самую, не к ночи упомянутую, злую свекровь, что, умащенная ароматными маслами против давленных собственным телом ран, дремала на белоснежных простынях. Из-за отворённого гардин третьего окошка слышались голоса:

– Ну, вот и зачем они тебе?! Брось их, подумай о себе!

– Кого бросить-то?

– Да стариков!

– Что ж ты такое говоришь? Как я жить-то с этим буду после? Как?!

Чтобы не разрыдаться при всех, луна прикрыла лицо  
скомканным платочком облака и всплакнула:

– Вот бывает же такое? Кому рассказать...

– Так и смолчи. – Попросил некто со стороны. – Кому мы  
с тобой нужны...



# Счастье

Лес источал многоголосие, он сочился им! Кричали дятлы, совы, зайцы, косули и забредший в чашу соседский кот. И если птиц ещё можно было как-то понять, то причина беспокойства косуль казалась выдуманной, а коту... Так и поделом тому, нечего без спросу выбегать со двора, где за высоким дощатым забором, в палисаднике стоял застланный толстой клетчатой клеёнкой стол, с водружённым на нём настоящим самоваром. Сосновые шишки сверкали очами из самого его сердца, а почти что новый сапог, приспособленный исключительно для того, чтобы поддавать жару, раздувая огонь, лежал тут же, на лавке и вкусно пах не дымом, да даже не сосновой смолой, но отчего-то свежим, неостывшим ещё малиновым вареньем.

Заслышав приветливый аромат, сбиваясь в стаи, к столу устремлялись божьи коровки. Они терпеливо ожидали, куда кто-нибудь догадается плеснуть в блюдечко сладкого чаю, и, едва покидала его излишняя горячность, принимались пировать. Некоторые, откушав чинно, со вкусом утирала губы и, выказывая почтение гулом, отдалённо напоминающим шмелиный, облетали застолье, после чего улетали прочь. Иные же, не зная меры, так и засыпали, уронив голову в чай. Таких, подальше от греха, приходилось перекладывать на клеёнку, под льняную салфетку, дабы не вводить на-

прасно пернатых в соблазн.

Немногим позже, когда закат тушил лучину дня о край горизонта, становилось сыро, и сквозняк, идущий от вымоченной в росе травы, наводил на размышления о том, что лето на даче в лесу, как бы и не лето вовсе. За воротом теснилась тоска по созвучию души всему, что вокруг! Особливо – по движениям тела, в такт дуновению ветра, по звукам слов, между порывами морского ветра, по горячим телам покатых голышей, чьи загорелые плечи, со спущенной бретелькой белого кварца наискосок хочется не выпускать из рук никогда...

Ровно в эту минуту, вместе с попутным выдохом земли, из сапога доносился прелый запах позабытой в его носке портянки, на салфетку со спящими под нею сытыми божьими коровками ставили таз с водой, а из чащи леса вновь принимался кричать соседский кот.

И вот кажется, – счастье, только что было здесь, так куда ушло оно?..

# Капли

Вишня под окном, вся в каплях дождя, словно усыпанная прозрачными ягодами, вселяла беспричинную, неосознанную радость, от которой казалось невозможным избавиться по причине несуществования повода её возникновения. Ну – подумаешь: вымочило деревце водой сверху донизу, ну – хватает сил брызгам, дабы удержаться на тонких ветках, не уронить себя в слякотную землю. И что ж с того? А вот, поди ты! – драгоценным чудится убранство, даже задник тумана не сдюжил, не испортил вида, но напротив, сделал образ таинственным боле, чем есть.

Солнце, оно бы что? Отразилось бы в каждой капле, полюбавшись собой, будто в зеркальце, да и прочь. А с дымкой влаги вышло всё куда как благоднее, нежнее. Трепет многих драгоценных серёг при сдержанном дыхании ветра не утомят собой. Докучает лишь то, чрезмерно яркое, чья навязчивая простота сродни бахвальству и не имеет в себе ни глубины, ни загадки. Но случившийся почти дождь, что удержался на ветвях, дабы прежде своего падения осмотреться по сторонам, понять – куда попал и почто он здесь... Не явление разве та явь, мимо коей шагаем, почитая её обыкновенной, либо вовсе лишённой интереса, да имеем ли своей воли на то?!

Зреют мелкие ягоды дождя на вишне, а уж как будут на то

годны – падут в землю, сделавши её сырой более, чем была. И добудятся семечка травы, омоют его бледное лицо, побуждая расти, дабы сделаться родному краю ещё краше, чем был.

## Сказ-ка...

Неким светлым часом, промежду рассветом и полуднем, когда крыши исходят паром, а по небритым щекам пригорков текут тихими слезами ручьи, дятлы с вОронами не поделили весну. С чего, да как всё началось – нам не уразуметь, только отгоняли вОроны дятлов прочь от гнезда, с криками, звонче громких:

– А и глядите, люди добрые, что же это делается, что творится! Белым днём на голубом глазу, один над головой трещит, другой под полом стучит, дрожит колыбель с детками малыми, неразумными, в чистых пелёнках скорлупы. А и откуда нам ждать помощи? Кто вступится, заслонит от недруга?..

Про ту беду прознали-расслышали из дальних мест вОроны, оставили своих жён да детушек по домам сидеть, прилетели на подмогу. Много было вОронов, супротив двух-то дятлов, – видимо-невидимо. С неба-слёту прогнали они тех ворогов-супостатов подальше от гнезда, и принялись после восхвалять храбрость свою с отвагою.

А дятлы, присев тут же, недалече на обломанную ветром берёзу, казали гордый точёный трудами профиль хвастунам,

и отстукивали по барабану ствола перебой<sup>13</sup>. Неспроста они тормозили вОронов, ибо знали то, что не всякому ведомо, и слышали то, что абы кому не распознать.

И не успело солнце взобраться на темечко неба, как ахнуло дерево под гнездом и сползло по соседним стволам, как по стеночке. Враз рассыпалось дерево вовсе, едино что, – успело оно, остатним порывом своим, переложить гнездо вОрона на орешник, кой жался к его ногам по всё время, как жил, да ровно-таки на той самой ветке, как на блюдечке, которая приютила его.

Обезумели было мать с отцом, да как увидали, что все пять завёрнутых скорлупой младенцев целым целёхоньки, отлегло у них от сердца. А отдышались едва, нашлось духу приметить, что, не отломись ветка, да по той самой строчке, сделанной дятлами, придавило б её к земле намертво, вместе с детками милыми да малыми, жданными, но не виданными ещё.

Стыдно стало вОронам за свою напраслину, полетели они по всем местам, стали искивать дятлов, криком крича, стуженые голоса надрывая, сердцем облака взбивая в белую пену. Только... тех ни песни, ни стуку, где ж им быть-то нынче, коли немало гнёзд в лесу, много дерев, пустых да тонких, всех прослушать надо, достучаться до каждого, которое ни

---

<sup>13</sup> восемь точек подряд – перебой. исправление ошибки в азбуке Морзе

на есть.

# Першее гроженье

14

Молнии – натруженные вены на лбу небес, дрожат раскрученной леской, оборвутся вот-вот. И, ожигая всполохом гнева, теряют терпение, раздражаясь грохотом, расталкивая невидимые каменные глыбы, роняют их громогласно. Кроны деревьев раскачиваются, подобно неваляшкам. Поросль сосен треплет ветром, как бухту вымпелов, позабытых на берегу. Позабывши про колкость их натуры, презрев сопротивление, играет ими ветер, как котятками, рвёт до густой пахучей крови смолы золотистые кисточки почек.

Белка безо всякого намеренья мечется промежду этажей ветвей. Испуг – та ещё помеха рассудку. И, вместо того, чтобы переждать непогоду в сухом дупле, под тёплым одеялом из цветочного пуха, на уютно примятым, но всё ещё упругим<sup>15</sup> матрасе сосновых игл, прикрыв глаза узкой ладошкой, мышь<sup>16</sup> царапает сырую, рыхлую от того кору дерев, срывается, скользит по ним и падает наземь, в ту незримую грудку обожжённых небесным огнём камней, коими щедро делится гроза.

---

<sup>14</sup> первая гроза (угроза)

<sup>15</sup> упругий

<sup>16</sup> белка



Паук спешит затворить вход в нору. Новая его дверь из комка земли, обитая шёлком паутины довольно прочна, но задержит настойчивость воды ненадолго. Впрочем, пауку достанет времени, дабы отбежать подальше, повыше, вглубь беспокойных своих покоев.

Одинокая бабочка, что только что беззаботно трясла цветастой шалью, будто заправская бабёнка, забилась в припадке и ветер вlepил ей пощёчину отсырелой рукой, да не расчитал. Разлетелись лоскуты шали на стороны, оставив вместо бабочки одно только мокрое место.

Долго трудилась гроза. Страшая и осаживая, упреждая наперёд, судила загодя всех и вся, безвинно виноватых, дабы остатняя весна с летом шли своим чередом, без того, чтобы стыдно было после вспомнить о них.

# Вовремя

Всю ночь под окнами топтался снег. Быть может, он хотел войти в дом, но из скромности, по совести и из боязни оказаться неожиданным гостем, грелся, расхаживая на цыпочках туда-сюда. Впрочем, невзирая на опасливость свою, на следил снег порядком, и не токмо там, где прилично бывать всякому бесприютному путнику. Эдакому-то до первого тихого угла, да спать, но снег не то клумбы – крыши вытоптал поперёк и вдоль!

В лесу стали видны звериные стёжки, со многими печатями птичьих заскорузлых от нелёгкой жизни лап. И уж как-вы бы они ни были в самом деле, а впечатление оставляли опрятное: гладкие, ровно фарфоровые, али из мрамора формы ласкали взор без обиняков. У звериных случалась иная промашка, – шерстинка какая пристанет, либо скол по верху сугроба. Птицы – те аккуратно следят, ни тебе запятой, ни червоточинки.

Присыпав пудрой серые щёки весны, отступив поглядеть на работу, снег остался-таки недоволен, и наскоро принялся пудрить шею, выпирающие ключицы, плечи пригорков и долгую ложбинку дороги на спине...

Рассвет застал утро неприбранным ещё, всё в мятых кружевах, а по белоснежному плетению ветвей – цветную вышивку чёрно-оранжевых бабочек... И от экой-то красы, только и вздумалось, что кричать, да плакать: бабочкам «рано!», снегу – «поздно!» Только вот... у естества всё вовремя, не как у людей.

Отдавшись течению ночи вполне, под окнами переступал с ноги на ногу снег. Зазорно ему было – в дом, без зову, поздним часом. А хозяевам-то и невдомёк, что, приоткрой они двери, предложи чаю и обогреться подле печи, расстели тут же, на топчане у стены, да прикрой ноги ветхой овчиной... Глядишь, той порой и осмелела бы весна. А теперь – сколь ещё поджидать её? Устанешь, поди.

# Конечно

Ночь понемногу переливалась через край чаши месяца. Заливая собой всё небо, у самого горизонта она была ещё не слишком густа, когда пузырьки звёзд взмывали уже под потолок небес, словно те, что поднимаются обыкновенно в стакане с сельтерской со дна. Помнится, в детстве, глядя на них начинало щекотать в носу точно так же, как щелочкочут<sup>17</sup> и веселят воды<sup>18</sup>, если отпивать от них не мелкими глотками, но щедро, открыто, залпом, до тесноты в горле, чтобы показались после слёзы из глаз, как капли безоглядной, лишённой всякой причины радости, коей никогда не удаётся сбыться в зрелую пору.

И как только ночь излилась вся, до той самой последней, медленной, ленивой капли, наступило утро. Первоцветы, заслышав рвущуюся из глубин напругу древесных соков, преуспели в стремлении опередить её, и пробиваясь сквозь пробку из опавших листьев и мелких веток, выпустили на волю немного перебродившего за зиму лесного духа. Дабы не вышло чего, коли он устремится весь, да разом, да в один час.

---

<sup>17</sup> щекотать

<sup>18</sup> минеральная вода

Птицы переговаривались несмело, пугаясь эха собственных голосов в пустом ещё лесу. Вороньи гнёзда на просвет казались штопкой на пятках небосвода. То там, то сям случайной пылинкой пролетал комар. Да вослед дуновению ветра слышен был чей-то наивный вопрос:

– А и конечно ли это... всё?

– Конечно. – Ответствовали ему.

# Синяя птица

У каждого ребёнка, сколь ни прошло бы лет с его появления на свет, есть некая примечательная коробочка со всякой всячиной, неинтересной никому, кроме него самого. В моей, подле нательного крестика с истёртой петелькой и двух молочных зубов, – пыльное пёрышко синей птицы, некогда обронённое ею прямо мне под ноги на берегу Азовского моря.

В нашем детстве, Синей птицей<sup>19</sup> счастья мы называли сойку<sup>20</sup>. На её ярких перьях, словно сотканных из лоскутов неба, можно было отыскать бледно-голубые цвета мая, перламутровый небосвод июня, густую синеву июля и немного от выгоревшего на солнце августа.

Помнится, я прогуливался по берегу моря, когда сойка пролетела низко над головой, коснувшись волос потоком воздуха, что несла под крылом. Отставив ненадолго свои дела, птица присела неподалёку, дала себя рассмотреть, после чего выразительно кивнула, и взлетела, бросив пёрышко на песок. Перо так сияло, переливаясь от голубого к ярко-синему, что у меня захватило дух. Порыв птицы вот так вот, запросто, по доброй воле, без просьб и повода отказаться от

---

<sup>19</sup> лат. *Myiophonus caeruleus*, род птиц семейства мухоловковых

<sup>20</sup> лат. *Garrulus glandarius* – птица рода соек семейства врановых отряда воробьинообразных

драгоценности, казался невысказанным и безотчётным. Я долго разглядывал перо, не смея его коснуться, ведь сойка, так чудилось, могла передумать и потребовать свой дар назад.

Некоторое время спустя, когда ветер с моря слегка развеял мою подозрительность, я присел, дабы рассмотреть поближе обретенное сокровище, но когда, наконец, решился ухватиться за его белоснежный край, заметил, что песок, на который упало перо, будто бы пропитан кровью. Приглядевшись получше, я понял, что это ржавчина. Повсюду, едва присыпанные песком, лежали простреленные котелки касок, пулемётные ленты, затворы винтовок, неразошедшие по швам, стёганные «рубашки» лимонок и гильзы... гильзы... отстрелянные гильзы, набитые не порохом, но песком.

Судя по всему, окрестностям мыса Казантип со стороны Арбатского залива крепко запал в душу Мариупольский десант 1943 года. Не от того ли твёрдые щёки его берегов иссечены скалами морщин?

В ту же пору, когда сойка подарила мне на счастье своё перо, а было это ровно пятьдесят лет тому назад, неподалёку от линии прибоя, завалившись друг на друга, лежали две немецкие баржи. Затопленные бойцами Советской армии, вражеские посудины погрузились на морское дно вместе с экипажем в навечно измаранном исподнем, с прикусившей язык рындой, графинами из хрусталя, столовым серебром, да снимками идеальных фрау.

...Не знаю, обратил бы я внимание на землю, по которой хожу, если бы не птичье перо. Но я благодарен сойке за то, что она пробудила в моём сердце гордость за свой народ. за страну, за Родину, в которой каждая птица может назваться Синей птицей счастья, и окажется права.